

Встречи с Максимом Горьким

Адрес мечты

Под Москвой много красивых мест. Но всех красивей мне кажутся «Горки», где последние годы своей жизни жил Горький. Едешь холмами, между лесов, и вдруг из-за сосен встает перед тобой высокий белый дом, а за ним широченная луговина, среди которой затерялась Москва-река, и за луговиной — темный бор и такое высокое синее небо, что все время хочется приподняться, словно тогда лучше рассмотришь его, и хочется думать о чем-то огненно-живом, веселом, добром. И еще думаешь, что хорошее, доброе место для жилья выбрал русский народ для любимого своего писателя.

Дом большой, с большими колоннами, и стоит он на высоком обрывистом берегу, так что кажется, что виден он с другого конца России. Да так оно и есть. Виден он, — и к этому дому едут и идут отовсюду, и целый день там меняются люди, разговоры, хотя мысль у этих людей одна, и к этой мысли ведет их Горький. — как сделать так, чтоб лучше жилось человеку на земле, чтоб занимал он на ней подходящее его достоинству место. Разумеется, прокрадывались в этот дом и мерзавцы, фашистские прихвостни, надевшие личину друзей. И им удалось после долгой и тщательной подготовки убить Горького. Но — умерло тело певца. Мысль его, душа его, песня, высокая, заветная, осталась вечной, святой, немеркнувшей, как немеркнущая и светлая слава России, родившей нам Горького.

Перед домом цветник, где обитает, как говорят, до ста тысяч цветов, целая пленительная армия. Это — тоже подарок России своему певцу. Горький очень любит цветы, и когда у него есть время и он видит, что садовник поливает цветы из шланга, он выходит на террасу и молча смотрит. Благодушная улыбка светится на его лице. И тогда как-то особенно нежно голубеет перед тобой небо, и на сердце становится незаметно теплей.

Пройдешь цветник, и перед тобой деревянная лестница ступеней в сотню, не меньше. По бокам лестницы кусты, ели, сосны, а внизу — омут, глубокий, замолкший, и волна в нем словно волшебная, угадчивая. ...Внизу, в зале шла заседание по изданию «Истории крестьянства». Историки вдруг,

после вступительного слова Горького, со свирепой вытаращенными глазами горячо бросились навстречу будущей «Истории». Они ревниво толкали друг друга, подмигиваясь, и в пылу азарта, казалось, готовы были уничтожить и задуманную «Историю», и этот стол, и все папки, лежащие на столе. Алексей Максимович, любивший споры, смотрел на историков с удовольствием, и по глазам его можно было видеть, что он верит — история получится, раз так горячо взялись.

А затем вдруг спор умолк, точно телега истории свернула на другую, мягкую дорогу. Все выговорилось, Горький приподнялся на стуле, чтобы достать какую-то бумажку, и мы внезапно как-то поняли: да вот он, крестьянин, великодушную историю которого мы хотели рассказать.

Горький любил и знал большую историю. Но знал он и маленькие истории, где трепетало два-три сердца, и ему нравилось разбавлять этими маленькими историями большую историю. И так как заседание окончилось, но мы не уходили, он опять вспомнил о русской удали, которая в проспектах «Истории крестьянства» занимала какое-то свое место. Он заговорил о русских бунтарях, искателях, от них перебросился к разбойникам, которые, по его мнению, имели в России иной колорит, чем в других странах. Тут, кстати, он рассказал несколько историй о зря затраченной русской силе, о ловкости, о жестокости, появившейся от тоски и замкнутости жизни. Рассказал он и о трех кузнецах, на которых где-то возле Муромы напала целая шайка разбойников.

— Разбойники были опытные, — сказал Алексей Максимович. — Но кузнецы не растерялись. Встали друг к другу спинами, молота в руки и пошли молотобойничать. Крепкая битва была. Разбойники все полегли! А о кузнецах песню сочинили. Народ любит петь о ловкости и отваге. Хороша Русь, ловка!

И он повел плечом, как бы вспоминая движением этим всю известную ему народную ловкость и силу. Это было одно мгновение, но все мы почувствовали с восторгом, как еще много сохранилось в этом человеке силы и ловкости, как щедро одарил своего посланца во всечеловеческую культуру русский народ и как это хорошо, что еще

много лет он будет трудиться, выдумывать, творить...

А было это, кажись, в 1935 году...

* * *

...Переполненный пышностью и праздничностью мыслей о русском народе, о его гении и о гении Алексея Максимовича, я прошел цветник, спустился с обрыва по лестнице и увидел Москву-реку, ее темно-синий, с серебристым покровом, омут. У причала недвижно стояли лодки. Захотелось плыть. Я сел в лодку.

Солнце стояло низко, но до вечера было далеко.

За поворотом реки я увидел вьющийся над рощей дымок. Что-то ласковое, уютное чувствовалось в этом дымке; чья-то нежная рука, видно, разводила этот костер. Горький любил костры. Мне захотелось пойти к этому костру, повидать людей и, может быть, рассказать о них Горькому.

Вытащив лодку на отмель, я пошел по дороге, через рощу. Деревья склонились надо мной. Пахло обомшелыми пнями, липой, землей, сырой и стесненной здесь.

Вскоре в просвете между деревьями я увидел голубую даль, а над нею светло-желтое вечернее облако. На опушке как-то особенно зелены были листья деревьев, и внизу лежала коричневая, рубчатая земля, покрытая их тенью. В этой тени, на старых, истрепанных коврах, цвет которых подновляло вечернее солнце, сидело у костра несколько цыган.

Поближе, на тускло-красном ковре, старая цыганка кормила хлебом с рук белую корову.

Возле самого костра, на лилово-синем ковре, сидели молодые мужчина и женщина. Они держались за руки и смотрели в глаза друг другу, смотрели так любовно и пылко, что зависть брала за сердце. Привалил же людям такое счастье. Молодость и любовь так пылали, что, казалось, затмевали огонь костра.

Мне захотелось поговорить с цыганами, и я сказал, что у меня нет спичек, подсел к огню и стал раскуривать трубку. Старуха, потрепав корову по голове, приблизилась к костру. Она взяла у меня табаку, свернула папиросу и только затыкнулась, как закашляла. Узкие глаза ее от кашля налились кровью.

— Конец! Не могу курить. Последнее лето живу...

— Зачем же последнее? — сказал я. — Надо лечиться.

— Э, голубь, все равно: лечись не лечись, раз тебе уж дорога указана, уйдешь, — сказала она хрипло. — Будет. Накашлялась, начихалась в своей жизни.

И вдруг, неожиданно указывая рукой на виднеющуюся вдали белую колоннаду и зеленую крышу над ней, старуха сказала: — Вот бы мне куда, голубь. Вот бы там я исцелилась.

— Да там не санаторий, — проговорил я. — Там Максим Горький живет.

— То и говорю. Какой меня санаторий излечит, какой доктор, когда они все цыган за конокрадов считают. Нет, меня только Максимашка Горький может исцелить.

— Чем же он тебя может исцелить, бабушка? — изумленно спросил я.

— Тем и исцелит, за чем к нему иду.

— За чем же ты идешь?

Старуха подумала — говорить ли. А затем сказала:

— Он один знает, один и скажет. Затем к нему и иду. Он, будто большое колесо, с него смерть, как вода, скатывается. «Она» — к нему, а он ее оттолкнет, и она прочь. Почему? Потому, что много ходил по земле и но зря ходил. Мы, цыгане, тоже ходим. Только мы кашеварить любим и зря много останавливаемся, а настоящая ходьба должна быть без остановки. А он, Максимашка, если и устал, — разжег костер погреться. А тут подошел служивый и указал дорогу; он кашу оставил и пошел дальше. Ищет. Его ни кашеным, ни соленым не остановишь. Сказано: горьким лечат, а сладким калечат. Да, голубь...

— Значит, он нашел?

Старуха, опять подумав, сказала:

— Нашел.

— Что же он нашел, бабушка?

— А вечный корень. Во мнице нашел, в топях, на самом дне. Настояй тот корень на пол-литровке, пей по рюмке, выздоровеешь, будешь жить вечно. Он это **нашел**.

Молодой цыган вдруг опустил руку девушки, повернул к нам лицо, и мы чуть не ахнули: такое оно было счастливое и удивительное. Особенно неистово прекрасны были глаза. Старуха только что сказала о мнице, и глаза молодого цыгана, жадные, густые, напоминали мне «камень-моховик», аметист с прожилками волокна, которое походит на мох. Искрометные, неизмеримые зашища. И так было понятно, что девушка осталась сидеть, не шелохнувшись, не опу-

стив руки на колена, а держа их в воздухе, ожидая, когда парень повернется опять к ней. И лицо у ней было тоже такое прекрасное и счастливое, что и вглядываться в него страшно.

Молодой цыган воскликнул необыкновенно горячо:

— Ты хотела, я тебя провожу к Горькому, бабка. Но насчет корня — вранье. Кабы Горький нашел такой корень, он бы пробился сквозь любую чашу и отдал бы тот корень нашему человеку. Я знаю. Идешь ты к нему потому, что у него сердце разубранное. Увидишь его своими глазами и поймешь: верно, разубранное, разукрашенное так, что краше всего. Вот оно и горит издали, как золотой корень — солнце.

И тут мне представилась степь, вечер, старуха Изергиль, вспомнилась ее сказка, которую она забыла и за которой идет теперь к Горькому. Представился мне и молодой Горький, слушавший сказку старухи Изергиль, сказку о человеке, вырвавшем для счастья людей свое сердце, и сам ставший этой сказкой...

И вспомнился мне еще один город, по которому однажды мы шли вместе с Горьким. Город этот далеко от Москвы, за Средиземным морем. Город обширный, и от шума и разноязычного говора кажется еще обширнее.

Чего только нет в этом городе, каких чудес не увидишь! Есть здесь и обширные музеи с древними статуями и старинными картинами, как-то особенно гостеприимно и светло сияющими под итальянским солнцем. Есть здесь и гигантские аквариумы, где плавают чудные, то свирепые, то жеманные, то какие-то назойливо-нелепые морские рыбы. Здесь есть и дивные храмы, изукрашенные мрамором и золотом так, что тягостно смотреть.

Разные люди идут по набережным, и здесь, конечно, не в редкость высокий, сутулый человек в широкополой шляпе с легкими и мягкими движениями рук.

Но, когда по набережной пошел высокий, сутулый, в черной широкополой шляпе, — вся набережная остановилась, вздохнула и произнесла изумленно, в один голос, так, что мороз прохватил меня по коже:

— Горький! Горький!

И тогда мне показалось, что от людей струится слабый блеск, похожий на блеск зарницы. Этим заветным, мечтательным блеском была охвачена и беднота, живущая здесь, в богатом городе, одним луком да хлебом; и лукаво-мудрые, прибывшие издалека, путешественники.

— Горький! Горький, — неслось по неаполитанской толпе.

И слышать это слово на множестве языков, — какое это приятное кипучее и знойное чувство, и сколько в тебе гордости за родину, за Русь, родившую и воспитавшую его, и сколько гордости за страну Советов, воздавшему ему должное, поднявшему его на крыльях славы туда, куда возносится редкий человек, а самое главное, полюбившая его так, как она любила Ленина и как она любит Сталина.

— Горький! Горький!

Это был адрес мечты человечества, той мечты, где все справедливо, где все слова — напрямик, где счет несправедливостей, угнетавших человечество; подчитан и предъявлен, где темные силы — задавлены.

Вот поэтому неудивительно, что к Горькому однажды доставили письмо, написанное детской рукой, из города Надеждинск, что на Северном Урале. Я сам видел это письмо и убежден, что вряд ли бы такое письмо, написанное таким почерком и по такому невероятному адресу, дошло бы к какому-нибудь другому человеку подобной же профессии, как писательская профессия Горького.

Но письмо это, написанное милыми детскими каракулями, разбирали и донесли тоже мечтатели. Они нежно улыбались и понимали адресата. Они сами были такими же адресатами. Они знали и уважали писателя, ученого, борца за счастье человечества.

Горький жил тогда в Италии, в Сорренто, на берегу Соррентийского залива. Адрес же был такой:

«Горькому, Швейцария. Остров Кипр».

...И вот теперь, неподалеку от Москвы-реки, у костра, я вспомнил про это милое, писанное трепетной детской рукой, и мне стало так хорошо и радостно, что я вижу, слушаю Горького. Боясь сидеть дальше, не желая мешать цыганам, боясь потерять это замечательное и ярко-жадное ощущение счастья, я встал и пошел к своей лодке.

Небо совсем покраснело. Солнце склонилось. По ту сторону реки ударил первый, должно быть, еще совсем молодой соловей, ударил задорно, точно торопясь высказать свое счастье, которое охватило его целиком, и жгло его.